

Любовь Гуревич // Нева.1994. №7

Поэт

Скажи, твой беспокойный жар –
Смешной недуг иль высший дар?
Е. Баратынский

О Владимире Шагине, наверное, лучше всего было бы написать в форме коротеньких историй. Например, таких:

Врачу он читал «Моцарта и Сальери». – «Ну, разве это адекватное поведение?» – говорит врач.

«Как папа?» – спрашиваю я Митю, навестившего В.Н. в больнице. – «Говорит, что все крупные деньги сейчас фальшивые. Одни рубли и тройки настоящие».

Через два месяца разразился обмен денежных купюр.

31 декабря 1990 года звонит из психиатрической больницы. Спрашивает: «красные еще в городе?» – «...» — «Хоть не выходи».

...Но о человеке, создавшем в искусстве великое, должно, наверное, писать так, чтобы были видны именно те качества, которые этому способствовали.

Или хотя бы нужно привести нечто, убеждающее читателя, что перед ним – великий человек. Такие доказательства особенно нужны в случае, когда нет ни славы, ни удачливости, ни денег, ни недоступности.

Доказательств, боюсь, читатель у меня не найдет, и в этом будет свой реализм: ведь и немногие из знавших его подозревали, кого сподобились знать.

Великого не разглядеть на поверхности каждодневной жизни – тут оно то и дело оборачивается смешным.

Зато самобытность видна хорошо. Но передать самобытность художественной личности можно лишь с помощью речевого стиля, ей свойственного. Для Владимира Шагина характерна простая короткая фраза – вроде совсем простая, но есть в ней тонкость, делающая ее действенной. Она заставляет слушателя заново пережить смысл банального.

Хорошо бы написать о Шагине в манере Шагина.

Но его язык эпичен, он не передает индивидуальности и потому не годится для портрета. Сам Шагин в живописи портретом пренебрегал.

Как он рассказывал Мите свою биографию: «Родился. Был маленький...»

Я к нему пришла в первый раз осенью 1984 года с Н.И. Благодатовым.

Не интерьер, а, скорее, пейзаж: пол усыпан окурками, как лес листьями осенью, и явственно темнели пешеходные тропинки. Мебель присутствовала, но выглядела покинутой, она, вероятно, осталась в квартире от какой-то прежней жизни. А на диване, среди куч тряпья, сидел человек с лицом бездомного, но в чистом, вполне приличном костюме. Вид его мне показался бессмысленным. Вид человека, способного разве что разобраться, как раздобыть бутылку. Каюсь, обратись он ко мне на улице, я бы отпрянула в сторону. Между тем на стенах висели только что написанные картины. Благодатов восхищенно вскрикивал, называл его «художником номер один», а этот человек тянул «Да-а-а-а-да-а-а-а» и время от времени повторял одну и ту же фразу: «Ну что, брат Пушкин? – Да так как-то все»

Потом он совершил одно социальное действие: вскипятил чайник и намазал очень толстый бутерброд. И передал мне со словами: «Была у меня жена. Она от меня ушла. А почему – не знаю».

Эта фраза меня тогда позабавила, а потом я увидела в ней род художественного творчества – после того, как выяснилось, что упомянутое событие – уход жены – произошло без малого четверть века назад.

Собственно, он сразу сказал о главном: о любви.

Любовь к жене – дело житейское. Но любовь, которая длится четверть века после того, как жена перестала быть женой, – это уже иная материя. Это песня.

Так и в его живописи: устойчивое чувство, вечная преданность одному типу красоты.

В следующий раз я пришла к нему год спустя с целью записать его биографию. Он позволил прийти, он даже приготовился: купил вино и мясо. Мяса нарезал маленькими кусочками, залил водой, поставил на огонь – да так больше не вспоминал о нем, пока не сгорело. Он даже сказал: «живи тут!» – щедрым жестом указав в глубь окончательно превращённой в свалку квартиры, – как будто я пришла к нему потому, что мне негде жить. Однако первую же попытку задать вопрос – о годе рождения – грубо оборвал, сказав, что вопрос – это похоже на допрос, а допросить он сам кого угодно может. Блокнот пришлось убрать, замолчать и несколько часов смотреть на него – это было тяжелое зрелище – и слушать: смесь оголтелых, точных, простонародных и поэтичных фраз. Из речей его тогдашних помню рассказ о том, как мальчишками они бегали смотреть трофейные фильмы, и был фильм о Рембрандте: старый, больной, никому не нужный Рембрандт на каком-то чердаке проводит рукой по полотну, пыль стирается, проступает лицо» Да. Я не зря прожил свою жизнь...» Я как будто слушала сценарий, по которому разыгралась жизнь сидящего передо мной человека. Бал ли Рембрандт в 53 года так стар, так болен, так заброшен?

Застражили еще в памяти неприятные заявления демагогического характера: он, например, сказал, что готов сам поставить к стенке тех, кто против советской власти. Тогда я подумала, что именно в этой точке его рассудок помутнен, и только потом догадалась, что тут могла быть всего лишь осторожность: вдруг я шпион? – если только он не поминал таким образом свою преданную строю мать. Так что уютно с ним не было. Но главное ощущение: он очень, очень чувствителен, и он – поэт. Он из тех, кто «плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной» – эту растроганность души я узнавала в нем. И он знал сладость слов, он цитировал и повторял, повторял без конца какую-нибудь фразу или слово, как это делают дети.

В тот раз он читал: «Ветер принес издалека Песни весенний намек. Где-то светло и глубоко Неба открылся клочок. (середины он забыл... очень грустно было...) Робко, темно и глубоко Плакали струны мои. Ветер принес издалека Звучные песни твои»

Если б можно было передать голос, тон... В его тоне было то, что необходимо исполнителю романса, чтобы романс стал великим искусством. Та проникновенность. Поэтическое слияние чувства и чужих слов.

Поэзия – именно она объединяла представшего передо мной человека и мне известного художника. Объединяла и объясняла. Поэзия не способствует жизнеустройству человека – как и сила чувств. «Поэзия, – говорит один из героев Кортасара, вовсе не достоинство человека, а фатальное свойство, которым он страдает».

Не знаю, написал ли когда-нибудь Владимир Шагин хотя бы строчку, но словесным творчеством он занимается постоянно. Он сочиняет фразы – в сущности, это маленькие стихотворения. И в разговоре о нем всегда передавалась какая-нибудь его фраза, которую помнят в течении десятилетий. Чаще это что-то мило-нелепое, несколько сдвинутое по отношению к действительности. Речь его освобождена от задачи передать факты, она в образной форме сообщает о чувстве. В его фразе самоценность поэтического высказывания.

И поскольку он не просто чувствителен к поэтическому, но и самобытный поэт, то и поэтичность его живописи не есть иллюстрация, а создание собственной поэтики, сотворение новой поэтической реальности.

И так же как его вплетенное в повседневность словесное творчество предельно лаконично, так и поэтичность его картины придается каким-либо лаконичным высказыванием. Благодаря чему картина, обогащаясь смыслом, не оказывается в подчинении у некой внешне живописной задачи, не становится «литературой».

Поясню. Чтобы ввести в пейзаж лирическое звучание, придать ему уютность, Шагину достаточно двух крохотных фигурок – как ни малы они, в них ясно читается душевная ситуация. Что-то ему милое: прогулка отца с маленьким сыном, встретившиеся на улице приятели, влюбленные на мосту.

«Прелесть обыденного, незаметного», «прелесть нагой простоты» – так, подражая японцам, я бы обозначила поэтику Владимира Шагина.

Женщина накрывает на стол, мужчина что-то ей говорит. Деталей нет – ни лиц, ни деталей. Только пластика, поза, жест. Поэтичность – в том воодушевлении, в том близком патетическом чувстве, которое вызывает в художнике эта сцена, – в чувстве, передаваемом цветом, форсированной линией – особенно в мощных и ласковых линиях женского тела

«Мужчина у него – это какой-то фантом, он только атрибут обстановки», – заметил Михаил Иванов.

Как становится поэзией столь простое?

Рискну предположить, что простое становится поэзией, когда человек к нему привязан, а оно оказывается недоступным. А ему, наделенному многими талантами и редкой красотой, все оказалось не доступным. Все – начиная с благопристойного существования.

Я мало встречалась с ним, но много с его близкими. Случилось так, что я знаю почти всех, кто был с ним связан. И из их рассказов получается такая картина.

Он обладает мягким сердцем и всю жизнь тоскует – о покинувшей его жене, о сыне, о материнской любви. Мать его не оставляла, но чтобы ни было на сердце у этой женщины, мог ли он чувствовать себя любимым ею, если она в грош не ставила его искусство и с помощью изувера-врача пыталась вылечить его от мысли, что он художник. Она хотела, чтобы он стал настоящим советским человеком, героем труда. К счастью, он был уверен, что он художник. Он, к счастью унаследовал ее уверенность в себе.

И все же он очень любил мать. И всю жизнь он изображает сцены «Мать и дитя», где женщина с девочкой – у него была младшая сестра, для которой та, чьей любви ему недоставало, была, наверное, хорошей матерью.

В его картинах – сияющих как драгоценность, и таких эмоционально напряженных, что глядя на них, ощущаешь температуру воздуха там, внутри – где опущены все подробности, есть две абсолютно конкретные вещи: излюбленный женский тип и историческое время. Платье. В которое одета женщина, четко его определяет: это мир рубежа 50-60х годов. Он создал живописно-пластическую метафору этого времени – может быть, только он один. Это то самое время, когда он был на несколько лет упрятан на принудительное лечение. И там, когда мог, рисовал то, о чем тосковал: женщину, под взглядом мужчины поправляющую волосы у зеркала, мать, одевающую девочку. Праздник, созданный одним присутствием женщины, бутылкой вина и крышей над головой.

«В свободное время делает на маленьких клочках бумаги рисунки, которыми бывает очень доволен» – записано в истории болезни.

Когда перебираешь гору его рисунков, рассматриваешь сотню слайдов – вереницы городских улиц, прогулки, пляжи, бани, домашние сцены, то все это напоминает эпос – так целен мир, так в нем все устойчиво, повторяемо и лишено интереса к индивидуальному. Так все просто и вместе приподнято. Возникает чувство, что явился художник, выразивший народные представления о том, чем прекрасна обыкновенная жизнь. Он не наивен, но частью себя – простонароден. Существует в послевоенное время тип человека, соединившего образованность с чисто пролетарским образом жизни. Владимир Шагин – в 50-е годы студент художественного училища, потом музыкант и коллекционер репродукций, в 60-е–70-е – пациент спецбольницы, рабочий на тяжелых работах. Все как будто способствует тому, чтобы он стал народным художником – вот только народных художников у нас нет. Народные песни есть, народные поэты, пусть с натяжкой, но есть, а вот художников – нет. Есть народное прикладное искусство, но это совсем другая материя. В сфере станкового искусства это невозможно, ибо у народа, надо признаться, тут дурной вкус. В живописи не воспринимается форма, а вместе и заключенная в ней эмоция, как ни проста она. Неискушенный зритель, глядя на картину Владимира Шагина, говорит, что так может нарисовать любой ребенок. Подлинно, «великое умение похоже на неумение».

И Владимир Шагин остается не замеченным массовым зрителем на выставках, ибо нет у него ни одного приема китча, нет ничего, что могло бы интриговать, ничего экстравагантного или пряного. Ничего не вылезает, не «Торчит» из картины, ведь великое искусство – это искусство богатое и гармонизированное. Тут равновелики смысл и форма, красота и выразительность, мастерство и душевный порыв.

Выражение душевного начала – оно особенно выделяет Владимира Шагина на фоне доступного мне искусства. Все претендуют сейчас на духовность – как на принадлежность к высшему обществу. И свысока посматривали на Шагина в последнее десятилетие замороженные этим словом художники. Но духовность – понятие безразличное к добру и злу и к человеческой целостности. Духовность не противоречит дегуманизации искусства. А Владимир Шагин своим существованием доказывает, что дегуманизация искусства явление не всеобщее. И на фоне искусства распадающегося, представляющего в качестве ценности нечто узкое и бедное или чрезвычайно обобщенное, Владимир Шагин возвращает нам искусство целостное, соразмерное человеку и начисто лишное претенциозности. На фоне искусства безжизненного он всегда полон чувства, и притом чувства самого доброго. Можно питать страсть и ко злу, и эта страсть наполнит картины искренним волнением, которое отзовется в зрителе, примеров достаточно, тем и уязвим экспрессионизм. У Владимира Шагина душевная приязнь к хорошему и изображает он те ситуации, где людям, по его мнению, хорошо, соблюдая при этом удивительную меру, никогда не впадая ни в слащавость, ни в сентиментальность, ни в высокопарность – великолепие, мощь, звучность живописной плоти картин хранит от подобных грехов.

Но я хочу вернуться от разговора о великом художнике в чудовищно запущенную квартиру, где сидит разрушенный, опустившийся. Почти одичавший человек, затравленный настоящими и мнимыми преследованиями, к которому время от времени врываются санитары, заламывают ему руки и отправляют в далеко не привилегированное заведение. Трудно относиться к такому человеку – ну скажем, без некоторой фамильярности, неуместной по отношению к великому художнику. С другой стороны, торжественная отстраненность обращения с великим оказывается здесь даже несколько бесчеловечной. В самом слове «великий» есть нечто, не способствующее сочувствию. Раз «великий», то с ним все в порядке. Нам вот меньше повезло.

Мой знакомый психиатр Роман Хайкин, войдя в кабинет коллеги, увидел историю болезни и спросил: «У тебя что – художник Шагин лечится?» Хайкин сам рисовал и ходил на выставки. – «Да, он что-то пытается малевать», – с пренебрежением отвечал доктор. «Я пойду к нему, я ему скажу!» – вскипаю я. – «Бесполезно, он только посмеется. Он смеется и над теми, кто Ван Гога считает великим художником. Он уверен. Что он понимает, и к тому же ему все равно». От мысли, что он художник, этот врач и лечил Шагина – к счастью, медицина не всесильна.

«Бледный получился портрет и слишком много психушки, – сказал, прочитав это Олег Фронтинский. –На самом деле она занимала небольшое место. А в нем есть то же ликование, что и в его картинах».

«Он необычайно ласков ко всему живущему. А если речь заходит о женщине, то это молния! Он так обходителен не только с женщинами, но и с мужчинами... Вы слышали, как он поет? Он из лучших современных бардов. Как он в самую простыню вкладывает столько ласки и благородства», сказал Юра Филимонов.

Это я могу себе представить, хотя пения не слышала. Владимир Шагин – певец и джазмен, стилиста и красавица, коллекционер и блестящий собеседник – это я знаю только по рассказам. Я с ним познакомилась в те годы, когда он стал «Сворачиваться» и большей частью изгонял людей, которые приходили к нему и любили его. Все реже кто-то хотел и осмеливался вторгнуться в его жилище. И обычная новость о нем состояла в том, что он опять попал в психушку.

Вероятно, Фронтинский прав чтобы говорить о художнике Шагине, психушка не нужна. В его живописи нет такого мотива. Он не изображает страданий – не считает возможным удваивать зло.

Его искусство – здоровое и по своей тональности – торжествующее.

«Как все красиво, когда выходишь из сумасшедшего дома, сказал мне как-то Шагин.

Мы можем не думать о том, чем оплачена красота.

Да, искусство порой не отражает жизнь художника. Но оно питается – чем? Порой оно кажется страшным цветком, выросшим из его существа и постепенно впитавшим, высосавшим все. Что есть в нем, так что остается одна сморщенная оболочка – как не похожа она на цветок!

Мы не хотим этого видеть, стыдливо прикрываем глаза, отворачиваемся, оставляя его в одиночестве...

1999-1991